

ИЛЬЯ СЕВЕРИН

ВЫПУСКНОЙ 2007



Выпускной не кончится, пока ты не скажешь правду.

роман

Илья Северин
Выпускной 2007

«Автор»

2026

Северин И.

Выпускной 2007 / И. Северин — «Автор», 2026

Девятнадцать лет назад, в ночь выпускного, Денис ударил человека — а сел за это его лучший друг Лёха. Денис уехал в Москву и ни разу ему не написал. Теперь ему тридцать шесть: кредитки по телефону, ипотека, развод. А Лёха месяц назад умер. Наутро после встречи выпускников Денис просыпается 24 июня 2007 года. Ему семнадцать. Батя, которого он похоронил одиннадцать лет назад, сидит на кухне живой и пьёт валидол «от изжоги». Лёха шлёт эсэмэску без запятых: «есть тема на вечер ваще жесть». До ночи в гаражах «Рассвет» — восемнадцать часов. Денис знает этот день по минутам. Но что бы он ни делал, к утру Лёху увозят в «бобике», а будильник снова звенит в 08:05. И только Аня Белова из третьего ряда смотрит на него так, будто тоже знает, чем кончится эта ночь.

© Северин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. 02:40	5
Часть первая. Опять семнадцать	7
Глава 1. Встреча	7
Глава 2. Сейчас бы туда	9
Глава 3. Двадцать четвёртое	11
Глава 4. Кухня	13
Глава 5. Тема	16
Глава 6. Соколов Денис	19
Глава 7. Скукота	22
Глава 8. Танец родителей	24
Глава 9. Ливень	27
Глава 10. Дверь	29
Глава 11. Сорок седьмой	31
Глава 12. Не клюёт	33
Глава 13. Слово в слово	36
Глава 14. Тетрадь по алгебре	38
Тетрадь Ани. Запись первая	40
Ч	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Выпускной 2007

Все персонажи, события, город и организации вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны.

*Клюёт — значит, ещё рано.
Дед с набережной*

Пролог. 02:40

Двадцать пятое июня две тысячи седьмого года. Гаражный кооператив «Рассвет», третий час ночи.

После ливня асфальт между гаражами блестит, и в каждой луже дрожит один и тот же фонарь — единственный на весь ряд, с треснутым плафоном. Он мигает. Пахнет мокрым железом, бензином и тополиным пухом, который прибило дождём к воротам.

Ворота бокса сорок семь распахнуты. На бетоне — спортивная сумка, молния расстёгнута. Пачки сотенных. Только сотенная в каждой пачке одна, сверху. Под ней резаная газета.

Нас четверо. Серёга держит за лацканы парня в дорогом костюме. Лёха стоит рядом с кульком семечек в кулаке. Парень в костюме — Артём Шилов, сын депутата. И я.

Артём не вырывается. Он смотрит поверх Серёгина плеча прямо на меня и улыбается так, будто ждал именно этого.

— А Белова твоя у меня в машине так мило плакала, — говорит он. Медленно, чтобы я расслышал каждое слово. — Белова, кстати, ничего.

Внутри у меня становится тихо и горячо. Я не думаю ни про Аню, ни про машину. Мне просто очень нужно, чтобы он перестал улыбаться.

Я бью.

Мне семнадцать, я никогда никого не бил по-настоящему. Удар выходит короткий, злой и неправильный: костяшками в скулу. Артём отлетает назад, делает два шага, оступается в луже — и встречает виском угол стальных ворот.

Звук я потом буду слышать девятнадцать лет. Глухой, деревянный.

Артём лежит. Не шевелится. Из-под головы по мокрому асфальту ползёт тёмное, и фонарь в этом тёмном тоже мигает.

Серёга уходит первым. Запихивает пачки обратно в сумку — зачем-то, по привычке — и уходит быстрым шагом, не оборачиваясь. Где-то далеко, за рекой, начинает выть сирена.

Лёха стягивает с себя белую выпускную рубашку, сворачивает её и подкладывает Артёму под голову. Руки у него трясутся. Потом он поднимает лицо, и я вижу, как испуг уходит из него — сразу, будто выключили свет. Остаётся что-то другое. Взрослое.

— Денис, — говорит он. Полным именем, как зовёт меня, только когда совсем всерьёз. — Вали.

Я стою.

— Вали, сказал! У тебя институт. У тебя Анька. Я разберусь.

И я убегаю.

Я бегу между гаражами, по лужам, мимо мигающего фонаря, через пустырь, по мосту, по набережной с чугунными перилами, где на крайней скамейке кто-то сидит, обхватив колени, — я не смотрю кто. Я бегу до самого дома, мою руки в ванной холодной водой, пока костяшки не перестают щипать, бросаю рубашку в раковину и ложусь в кровать прямо в брюках.

Утром весь город будет знать, что Крюков проломил голову Шилову. Лёха скажет: «Это я». Ему дадут четыре года.

Я ни разу ему не напишу.

С той ночи я так и не перестал бежать. Просто со временем научился делать это медленно, на работу и обратно, и называть это жизнью.

Часть первая. Опять семнадцать

Глава 1. Встреча

На встречу выпускников пришли одиннадцать человек из двадцати шести. Лёха не пришёл. Почему — я узнаю через час, от Вики Ермаковой, между фотографией кота в вязаной шапке и третьей рюмкой коньяка.

А пока, двадцать третьего июня, я сижу в кафе, где когда-то была «Ивушка», и считаю, сколько ещё прилично здесь просидеть.

«Ивушку» перестроили лет десять назад и назвали «Встреча»: думали, сюда будут ходить на свадьбы. Ходят на поминки. Девятнадцать лет выпуску — не юбилей. Это когда кто-то в общем чате написал «а давайте?», и одиннадцать человек не нашли, как вежливо отказаться.

Я — один из них. Денис Соколов, тридцать шесть лет. Живу в Москве, работаю в банке, к маме в Тополинск приезжаю раз в год, на два дня, и обычно уезжаю на день раньше. Мама каждый раз говорит: «Ну, конечно, у тебя дела», — и мы оба делаем вид, что у меня дела. В этот раз она сказала, что Вика собирает класс, и я купил билет.

В тёмном окне отражается мужчина в новой белой рубашке. У него живот, который он вытягивает даже сидя, и лоб, который бывшая жена называла «аэродромом».

Бывшую жену зовут Света. Мы развелись три года назад, без ссор. Ссор у нас не было, как и всего остального, и делить оказалось нечего, кроме кофемашины. Кофемашину я ей оставил.

— Денис! Соколов! Ты вообще не изменился!

Вика Ермакова идёт ко мне через весь зал, раскинув руки, и я встаю: в Тополинске так положено. Я не изменился на двенадцать килограммов, одну ипотеку и один развод.

— Ты тоже, Вик, — говорю я, и она обнимает меня, пахнет сладкими духами и салатом.

— Ну, рассказывай! Ты где? Ты кто?

Это главный вопрос вечера. У меня заготовлен ответ, отрепетированный в поезде: «В банке, руковожу отделом». Отдел — это я и два стажёра.

— В банке, — говорю я. — Продаю кредитки. По телефону.

Вика моргает. Я сам не понимаю, почему сказал правду. Наверное, устал. Или коньяк.

— Ой, — говорит Вика. — Ну, молодец. Стабильно.

«Стабильно» — это то, что говорят, когда хвалить нечего.

Дальше — её телефон: дети, дача, кот в вязаной шапке.

— Ой, стой! — Она роется в сумке. — Я ж принесла! С выпускного! Я ж тогда с мыльницей везде ходила, помнишь?

Я помню. В одиннадцатом классе у Вики на шее висела серебристая мыльница, и она щёлкала всё подряд: доску, завуча, голубей, чужие поцелуи.

Она достаёт жёлтый конверт из фотоателье и вытряхивает на скатерть пачку бумажных снимков с белой рамкой. Один кладёт передо мной.

Двор четырнадцатой школы, двадцать четвёртое июня, день вручения аттестатов. Двадцать шесть человек в три ряда у крыльца. Солнце бьёт в объектив, все щурятся.

Я во втором ряду: тощий, чёлка на один глаз, пиджак на вырост. Рядом со мной — Лёха. Рубашка нараспашку, под ней футболка с черепом, лента через не то плечо, рот до ушей. Он единственный, кто не щурится: смотрит прямо в солнце, как будто солнце ему что-то должно.

А с краю первого ряда, чуть в стороне от всех, стоит Аня Белова. Высокий хвост, белая блузка, лента ровно, как по линейке. И смотрит она не в объектив.

Она смотрит на меня.

У меня есть точно такая же фотография. Лежит у мамы на антресоли, в коробке из-под обуви, вместе с аттестатом. Я положил её в коробку в конце июня две тысячи седьмого и больше не открывал.

— Слушай, — Вика садится рядом и понижает голос. — А ты про Лёху слышал?

— Что про Лёху?

— Месяц назад, — говорит она. — Сердце. Прямо у себя в сервисе, говорят. Под машиной лежал, подвеску делал. Напарник нашёл, скорую вызвали — не откачали.

Я молчу.

— Хотя... Ну, ты ж знаешь, как он жил. После всего.

Знаю.

— Тридцать шесть, — говорит Вика. — Как нам.

Глава 2. Сейчас бы туда

Колонка в углу играет «Дворы-подъезды» группы «Кварталы» — ту самую, под которую мы когда-то прыгали в ДК «Химик». Я смотрю на Лёху на фотографии.

В девять лет мы с ним залезли на стройку за школой. Там начинали девятиэтажку и бросили на третьем этаже. Мы лазили туда каждый день, жгли в жестяной банке пенопласт.

Однажды Лёха нашёл половинку красного кирпича с выдавленным заводским клеймом и сказал, что это знак. Что мы теперь братья и надо поклясться, как в кино. Он сказал: «Если кто из нас попадёт — второй не бросит». Я повторил. Мы плюнули на кирпич и закопали его под плитой.

Нам было по девять. Мы думали, «попадёт» — это когда поймает сторож.

Через восемь лет он попал. А я бросил. Об этом знали двое. Теперь знаю только я.

— Вы же не разлей вода были, — говорит Вика. — А потом что у вас случилось-то?

Я выпиваю. Вика смотрит на рюмку, потом на меня — и молчит. Первый раз за вечер.

— Ничего у нас не случилось, — говорю я. Так я себе говорю уже девятнадцать лет.

* * *

В половине одиннадцатого официантка ходит между столами и говорит: «Молодые люди, закругляемся, у меня автобус». Молодые люди — это мы, с ипотеками и давлением. Вика собирает фотографии в конверт, а ту, со двора, протягивает мне: «На. У меня их две». Я кладу её во внутренний карман пиджака, к паспорту.

Таксисту лет шестьдесят: кепка, усы, как у моего отца.

— На Заводскую? Это где старая школа?

— Там.

Мама так и живёт на Заводской. Одна. Я сплю у неё на диване под ковром, который она не даёт снять: «Отец вешал». На ковре узор, похожий на сердитое лицо, и я каждый раз, засыпая, ищу это лицо и нахожу.

За окном Заводская. Тополя спилили, когда расширяли дорогу, а город так и называется Тополинском, из вежливости.

— С праздника, что ли? — спрашивает таксист.

— Со встречи выпускников.

— О-о, — говорит он с уважением. — Хорошее время было. Сейчас бы туда, а?

Я достаю телефон. Рабочий чат листаю, не читая. И одно сообщение, которое висит непрочитанным три недели. С незнакомого номера. Местный код — Тополинск.

«Денис, здравствуй. Это Аня Белова. Нам надо поговорить про Лёшу...»

Дальше превью обрезано. Оно пришло третьего июня. Я стоял в вагоне на Таганской. Столько лет тишины — и вдруг Аня. И вдруг про Лёшу.

Я не стал открывать. Решил, что она хочет поговорить про ту ночь. Что она что-то знает. Я знал только, что про ту ночь не говорю ни с кем. Три недели я каждый вечер видел эту строчку в списке и пролистывал её большим пальцем, как рекламу.

Теперь понятно, про что она писала. Когда пришло это сообщение, его уже похоронили. Я открываю.

«Денис, здравствуй. Это Аня Белова. Нам надо поговорить про Лёшу. Он просил тебе кое-что передать. Позвони, пожалуйста. Аня».

Он просил передать. Мне.

Я начинаю печатать: «Аня, прости, я». Стираю. «Аня, здравствуй, я только сейчас». Стираю. На часах ноль тридцать одна. Не звонят в полпервого ночи людям, которым не отвечал три недели. Завтра. Позвоню завтра.

— Так чего, говорю, — таксист смотрит на меня в зеркало, — сейчас бы туда?

Мы проезжаем старую школу. Крыльцо, на котором нас фотографировали, заколочено досками крест-накрест. Над входом остался след от снятых букв: «...ОБРЫЙ ПУТЬ».

Сейчас бы туда.

Не за молодостью. Мне не нужны волосы, колени, плоский живот. Мне нужна одна ночь. С двадцать четвёртого на двадцать пятое июня две тысячи седьмого года, с часу до трёх, гаражный кооператив «Рассвет», бокс сорок семь. Я бы сделал всё по-другому. Хотя бы одну вещь.

Таксист говорит: «Приехали». Я тихо открываю дверь своим ключом — мама спит. На кухне под полотенцем тарелка с пирожками и записка маминым почерком: «Ешь, а то знаю я тебя». Я не ем. Ложусь на диван под ковёр. Фотография хрустит в кармане пиджака.

Я ищу на ковре сердитое лицо. Нахожу. И засыпаю сразу, чего со мной не случилось много лет.

А просыпаюсь от звона.

Глава 3. Двадцать четвёртое

Звон не телефонный. Это железо по железу — частое, злое.

Я открываю глаза. На тумбочке прыгает будильник — круглый, с двумя чашками сверху — и по сантиметру ползёт к краю. Я накрываю чашки ладонью. Будильник бьётся в руке, как пойманный жук, и затихает.

Восемь ноль пять. Голова не болит.

Это первое, что не так. После вчерашнего коньяка она обязана болеть. Сейчас — ничего.

Второе — ковёр. Тот самый, с сердитым лицом. Только висит он не в большой комнате, а над моей кроватью — здесь он и висел, пока мама не переделала мою комнату в кладовку. Лицо на месте. Смотрит.

Третье — я лежу на кровати, из которой вырос в девятом классе. Пятки свисают. Под одеяльником с машинками.

— Денис! — кричит из-за двери мама. — Рубашку сам гладишь или мне?! Девятый час!

Я лежу и не дышу. Мамин голос. Звонкий, быстрый, в одном предложении и ругает, и жалеет. Без хрипотцы. Хрипотца появилась у неё после похорон Бати. Я забыл, что когда-то её не было.

Руки. Тонкие, без часов, костяшки острые, ногти обкусаны. Ни кольца, ни белой полоски от него.

Встаю я так, как встаю последние лет пять: на бок, рукой в колено, потом поясница. Но колено не щёлкает. Тело вскакивает само, и я едва не врезаюсь лбом в книжную полку.

На шкафу зеркало. Я подхожу к нему не сразу. Из зеркала смотрит тощий пацан в мятой футболке и трусах в полоску. Чёлка на один глаз. Я трогаю лицо — пацан трогает своё, испуганно, как чужое. Нос, который я в двадцать лет сломал на футболе, прямой. Живота нет, под футболкой рёбра. Я трогаю макушку.

Волосы. Все.

У пацана в зеркале начинают дрожать губы. Если это кома — пусть меня не будят.

Я отодвигаю тюль. Двор. Наш двор, только молодой. Напротив, на балконе у Сорокиных, стоит старое кресло, в котором каждое лето сидел дед Сорокин. Кресло на месте. Значит, и дед жив.

Вдоль дороги — тополя, и от них летит пух. Двое пацанов чиркают спичками у бордюра, и по пуху бежит тонкая рыжая змейка огня.

Я открываю форточку. Пушинка влетает в комнату и садится мне на руку. Я смотрю на неё долго, как на письмо.

На тумбочке жужжит телефон. Серебристая кнопочная «Нокия» — подарок на семнадцать. На экране конвертик и имя: «Лёха».

ну чё выпускник живой? в 9 у ларька. есть тема на вечер ваще жессть

Я сажусь на кровать. Колени, которые не болят, вдруг перестают держать.

Без запятых, без заглавных, как всегда. Обычно Лёха лепил в конце скобки, «чтоб было понятно, что я по-доброму». Сегодня скобок нет. Сегодня у него «тема».

Вечером будет «Рассвет», бокс сорок семь, Серёга с монтировкой, сумка, Артём Шилов в костюме. Мой удар. Угол ворот. «Денис. Вали».

А дальше — то, что было потом. Артём выжил: трещина черепа, эпилепсия. Лёхе дали четыре года — за удар, за взлом и за условку. Про меня он не сказал ни слова. Я уехал в Москву и не написал ему ни разу. Он вышел в одиннадцатом году, открыл автосервис, пил, развёлся. Месяц назад у него остановилось сердце.

Вот и вся тема.

Сумасшествие? Я бы не придумал кресло Сорокиных. Кома? Тогда тем более всё равно, что я делаю.

У меня есть день, которого не было. Восемнадцать часов. Цель одна: до ночи не пустить Лёху в «Рассвет». Я двенадцать лет уговариваю по телефону людей, которые бросают трубку на втором слове. С Лёхой договарюсь.

— Дени-и-ис! — кричит мама.

— Иду! — кричу я. Голос выходит тонкий, ломаный и на последнем слоге даёт петуха.

Отлично. Мне снова семнадцать.

Я отвечаю Лёхе. Чтобы написать «у», надо четыре раза нажать шестёрку, и палец делает это сам, не глядя.

буду

Я натягиваю брюки со спинки стула и выхожу в коридор. Там пахнет горячим утюгом и жареными яйцами. С кухни доносится мужской голос, низкий, недовольный:

— Оля. Чайник.

Я останавливаюсь посреди коридора.

Последний раз я слышал этот голос одиннадцать лет назад, по телефону. Он сказал: «Ну, давай, сын. Не болей».

Глава 4. Кухня

В коридоре на вешалке — Батина брезентовая куртка с засохшей рыбьей чешуёй на рукаве. Я трогаю куртку. Она настоящая.

На пороге кухни я останавливаюсь. В чугунной сковородке жарятся яйца. Чайник набирает свист. На подоконнике бормочет радиоприёмник. А посреди стола, на сложенном вдвое шерстяном одеяле, мама гладит мою рубашку.

Она стоит ко мне спиной. Халат, на шее сантиметр, на затылке ещё три бигуди. Она набирает в рот воды из кружки, наклоняется и — пф-ф-ф — брызгает на воротник мелким облаком. «Так лучше разглаживается». Она всегда так говорила. Я забыл.

— Явился, — говорит мама, не оборачиваясь. — Садись ешь. Рубашку я сама, ты её только изжуёшь. Хлеб порежь, чай налей. У меня не восемь рук.

— Мам, — говорю я и больше ничего не говорю.

В двадцать шестом маме шестьдесят шесть, она ходит медленно из-за колена. Здесь ей сорок семь. Круглые щёки, сильные руки, красные от пара. Я стою на пороге и понимаю, что моя мама старше меня всего на одиннадцать лет.

— Чего застыл? — Она наконец оборачивается. — Ты чего на меня так смотришь? Как будто я тебе денег должна.

А у окна, на табуретке, сидит Батя и читает газету. Очки на кончике носа. Майка, треники с вытянутыми коленками. Перед ним стакан чая в подстаканнике.

Ему сорок девять. Мне — там, в Люблино, — тридцать шесть. Мы почти ровесники.

Я хоронил его в марте пятнадцатого. Четырнадцатого числа он пошёл в свой гараж — двадцать четвёртый бокс в «Рассвете» — за аккумулятором. Упал на снегу в двадцати шагах от ворот. Не дошёл. Нашёл его дядя Коля из соседнего бокса. На похоронах ветер валил венки, и я всё время их поднимал, чтобы не смотреть на гроб.

— Чего встал? — говорит Батя, не отрываясь от газеты. — Садись. — Он переворачивает страницу. — Или выпускникам теперь отдельно накрывают?

Я не сажусь. Я делаю два шага и обнимаю его — прямо через газету, неловко, сверху, так что газета мнётся у него на груди.

От него пахнет хозяйственным мылом и машинным маслом. Мылом он отмывал руки после цеха, а масло не отмывалось ничем. Батя сидит неподвижно. Мы не обнимались лет с десяти, когда я решил, что взрослые мужчины не обнимаются, а он не стал спорить.

— Ты чего? — говорит он в газету.

Я не могу говорить.

— ...Ладно, — говорит Батя, и его тяжёлая ладонь ложится мне на спину. Хлопает два раза, как на проходной: давай, держись. — Ладно, сын. Нормально всё.

— Петя, — испуганно говорит мама, — он заболел. Денис, лоб дай.

Ладонь у неё горячая от утюга.

— Выздоровел, мам.

Яичница прямо в сковородке, «чтоб меньше мыть». Радио обещает до тридцати градусов, к вечеру кратковременный дождь. Дождь будет в двадцать сорок, ровно десять минут. Батя к тому времени уже уйдёт на смену. Я помню этот день лучше, чем вчерашний.

Батя морщится над газетой и говорит почти про себя: «М-м». Трёт грудь ладонью, медленно, по кругу. Потом достаёт из кармана рубашки стеклянный флакончик, вытряхивает на ладонь белую таблетку и кладёт под язык. Привычно, не глядя.

— Опять? — Утюг замирает.

— Изжога, — говорит Батя. — От твоей яичницы.

— Моя яичница тут ни при чём! Я тебе сто раз говорила — сходи к Аркадьевне! Она по вторникам и четвергам!

— Схожу.

— Когда?

— Когда клевать перестанет.

Мама с грохотом ставит утюг и отворачивается к плите. Её спина говорит всё, что она думает про рыбалку, мужчин и их изжоги.

Это не изжога. Через восемь лет эта белая таблетка будет лежать у него в кармане, потому что он не успеет её достать.

— Пап, — говорю я. — Сходи к врачу. К кардиологу.

— Ишь ты. — Батя хмыкает в усы. — Слова какие знает.

— Я серьёзно.

— И я серьёзно. Схожу. На пенсии.

— Слышишь, Петя? — Мама разворачивается с лопаткой в руке. — Ребёнок дело говорит!

— Ребёнок, — говорит Батя, — пусть сначала галстук завязать научится.

Я проиграл. Что мне сказать — «Пап, ты умрёшь через восемь лет»? Он посмотрит поверх очков и скажет: «Все помрём».

— Всё, готово! — Мама встряхивает рубашку за плечи. — Надевай, пока тёплая.

Рубашка горячая, воротник стоит колом. Я застёгиваю пуговицы, и мама вдруг улыбается так, что у неё краснеют глаза.

— Ой. Ну жених. Петя, смотри — жених!

— Галстук где? — говорит Батя.

Я приношу галстук, тёмно-синий, с рынка. Мама протягивает руку, но Батя уже складывает газету.

— Сам. Ты ему узлом затянешь, как удавку. — Он встаёт тяжело, опираясь о стол обеими руками. — Иди сюда. Подбородок выше.

Он стоит ближе, чем мы стояли все последние годы его жизни. Пальцы толстые, в мелких шрамах — от станков, от крючков. А узел выходит ровный.

— Не узлом, а петлёй, — говорит Батя. — Через верх, под низ — и в петлю. Запоминай. Мне тебе каждый раз завязывать?

Он завязал мне галстук два раза в жизни: сегодня и на мою свадьбу. На похороны я завязывал сам, и мама молча поправила кривой узел. Мне трудно дышать, и галстук тут ни при чём.

— Всё. — Батя хлопает меня по груди, разглаживая. — Жених. — Садится, берёт газету и, не поднимая глаз, добавляет: — Да, слушай. Ремизов звонил, сменщик. Заболел. Я в ночь выйду. Так что на банкете я до восьми.

— Петя! Ну какая ночь, у ребёнка выпускной!

— Ребёнку семнадцать. Ребёнок справится.

Мама исчезает в комнате, звякает хрустальная вазочка с «зачачкой», и в нагрудный карман моей рубашки ложатся две мятые голубовато-зелёные тысячи.

— На рынке, у Нинки, второй ряд. Скажешь, от меня. Костюм купи нормальный, тёмный, чтоб на фотографиях не стыдно.

В две тысячи седьмом я эти деньги прогулял. Костюм остался серым, в ёлочку, на вырост — я и на Батины похороны пошёл в нём. Так и не дорос.

— Спасибо, мам.

Она машет рукой и снова берёт утюг, хотя гладить больше нечего.

В две тысячи седьмом я выскочил отсюда, не попрощавшись. Сейчас я стою в дверях и смотрю, как Батя трёт грудь, как мама гладит пустое одеяло, и понимаю, что могу просто остаться.

— Опоздаешь же, — говорит мама.

— Пока, пап.

Батя поднимает глаза над газетой и смотрит на меня. Долго, секунды три. Так он смотрит на поплавок, когда не ясно, рыба это или ветер.

— Ты сегодня какой-то... — говорит он и не договаривает.

— Какой?

— Взрослый, что ли.

Глава 5. Тема

Остановка «Школа №14» — бетонная коробка с лавкой и голубой ларёк. За решёткой окошка — «Пантера» в холодильнике, семечки в кульках из газеты. И тётя Зина.

Зина работает с восьми утра до восьми утра, потому что «сменщица запила». Серьги-кольца, вязаная кофта в любую погоду. Знает всех в радиусе трёх остановок: кто с кем, кто кому должен. В двадцать шестом здесь «Шаурма 24». Где Зина, я никогда не спрашивал.

— Выпускник! — Зина всплёскивает руками, и серьги звякают. — Ой, нарядный какой. Жених! Чего тебе, жених?

— Семечек, тёть Зин. Жареных.

— Других не держим, сынок. Десять рублей.

Сдачу с моей сотни Зина отсчитывает и не отдаёт.

— Стой. Ты ж умный. Олимпиаду, мать говорила, выиграл. — Она надевает очки и тычет ручкой в кроссворд. — «Ожидание чего-то хорошего». Шесть букв. «Надежда» не лезет, я пробовала.

— Не знаю, тёть Зин.

— Ну вот. А ещё олимпиадник.

Я сажусь на лавку и грызу семечки. Сплёвываю шелуху в кулак, как учил Лёха: на асфальт — некультурно, «это ж не деревня». Девять ноль одна.

Звук я слышу раньше, чем вижу. Комар размером с собаку — тонкий, злой, с подвыванием на подъёме. «Крюков летит», — говорит Зина, не поднимая головы. Красный мопед выныривает из-за поворота и тормозит в метре от моих ботинок.

Лёха.

Рубашка выпускника расстёгнута до пупа, под ней чёрная футболка с черепом. Стрижен почти под ноль, загорелый: летом Лёха моет машины на мойке у трассы. Он улыбается во весь рот, и у переднего зуба видно отколотый уголок: восьмой класс, турник. Зуб так и не исправил: «Это ж память».

Последний раз я видел его в гаражах. На коленях, с чужой головой на своей рубашке.

— О! Живой! — Лёха глушит мотор. — Я думал, тебя мамка в рубашке утопила.

Я не могу перестать на него смотреть.

— Чё устался? Зуб, что ли? Ты чё, Дэн?

Я встаю и обнимаю его — прямо через руль, неловко.

— Э! Ты чё! Люди смотрят!

— Ой, мальчики, — вздыхает Зина. — Как в кино.

— Тёть Зин, это он от радости. — Лёха высвобождается. — Выпускник. Психика. Ты меня пугаешь, профессор.

«Профессор». Он звал меня так с седьмого класса, когда я умничал. Он без спросу загребаёт из моего кулька горсть семечек.

— Короче, — Лёха понижает голос. — Тема.

— Серый — ну, Мальцев — сегодня ночью открывает один бокс. В «Рассвете». Сорок седьмой. Наше дело — постоять на шухере. Час работы. По три штуки на рыло. — Лёха поднимает три пальца. — Три штуки, Дэн. Ты столько на мойке за месяц не поднимешь.

— А бокс чей?

— А какая разница? Какого-то жирного. Серый сказал — всё схвачено. Там хозяин сам... — Он запинается. — Короче, не наше дело.

«Хозяин сам». В две тысячи седьмом я пропустил это мимо ушей. Хозяин сам — что? Сам знает? Сам открыл?

Я помню, что ответил тогда. «Три штуки — это ж новая мобила». Через семнадцать часов всё закончилось.

— Нет, — говорю я. — И ты не пойдёшь.

Лёха перестаёт жевать.

— Опа. Ты чё, мамка моя?

— Я знаю, чем это кончится. Туда придёт Шилов. Артём. Будет драка, он упадёт и ударится головой. Приедет Палыч. Ты возмёшь на себя, и тебе дадут четыре года.

Лёха смотрит на меня секунды три. Потом ржёт. Ржёт так, что сгибается пополам на сиденье, а Зина роняет кулёк с семечками.

— Пророк! — выдавливают Лёха. — Гадалка с Заводской! Дэн, ты чё вчера пил? Мне тоже надо. Зуб даю, — он стучит ногтем по сколотому зубу, — Шилов в гаражах! Да его папаша в одиннадцать запирает, он дома в пижамке с мишками!

На его месте я бы тоже ржал.

— Тебе нельзя, — говорю я, меняя тактику. В банке это называется «работа с возражениями». — У тебя условка до сентября.

Он перестаёт улыбаться. На секунду, но я вижу.

Прошлой весной трое пэтэушников отобрали у Кирюхи, Лёхиного младшего брата, велосипед, а самого толкнули в лужу. Лёха нашёл того, кто был на велосипеде, и сломал ему нос с одного удара. На вопрос судьи «Вы раскаиваетесь?» сказал: «Нет. Он у малого велик забрал». Год условно.

— Я в курсе, Дэн, — голос у него становится ниже. — Поэтому я на шухере, а не внутри. Шухер — это не статья. Шухер — это я гулял.

Он правда в это верит.

— Мопед у тебя откуда?

Он дёргается.

— По случаю взял. А чё?

— У Серого. В долг.

— Ты откуда... — Лёха бледнеет под загаром. — Кто сказал?

Это я узнал потом: мопед был краденый, Серёга «продал» его Лёхе за пятнадцать тысяч в долг, и Лёха отрабатывал — сначала по мелочи, потом «темой».

— Ну отрабатываю, — говорит Лёха зло. — И чё? Отработаю — и свободен. Мужик сказал — мужик сделал. Не лезь, Дэн. Не твоё.

— А Кирюха? — говорю я тихо. — Ты ему шлем обещал. С денег. Настоящий, с забралом. Он без тебя пропадёт, Лёх.

Лёха крутит ключ в замке зажигания и долго не отвечает.

— Не трожь Кирюху, — говорит он очень тихо. — Я ради него и... Короче. Не трожь.

Разговор закончен.

— Не хочешь — не иди. Я сам. Только не стучи никому, ладно? Денис. Слышишь меня?

Полным именем он зовёт меня, только когда совсем всерьёз. Когда клялись на кирпиче. Когда в гаражах, в два сорок три ночи, сказал «вали».

— Слышу.

— Вот и ладно. — Он снова улыбается, и скол на зубе блестит на солнце.

Мопед чихает, плюётся синим дымом и уносит его к школе. Через плечо Лёха орёт:

— В десять у школы, выпускник! Не опаздывай!

Я стою у ларька с кульком семечек. Рядом синий таксофон. На трубке висит клок пуха. План А не сработал. Ничего. Восемнадцать часов. Я успею.

— Сынок, — говорит Зина. — А ты так и не сказал. Шесть букв. Ожидание хорошего.

— Не знаю, тётъ Зин. Честно. Девятнадцать лет не знаю.

Она смотрит на меня поверх очков, кивает туда, куда уехал мопед, и лицо у неё вдруг не ласковое, а серьёзное.

— Ты дружку своему передай, пусть аккуратнее сегодня. Палыч кефир не взял. Каждое утро берёт, в восемь десять, как часы. А сегодня мимо прошёл.

— И что?

— Значит, злой, — говорит Зина. — Значит, к вечеру кого-нибудь закроет.

Глава 6. Соколов Денис

В десять у четырнадцатой школы не протолкнуться. Над крыльцом растяжка «В добрый путь, выпускники-2007!», и буква «П» в слове «путь» держится на одном гвозде. Она провисит так до сентября. В этом городе ничего никуда не девается. Кроме людей.

Двор забит. У крыльца стол под красной скатертью, на нём аттестаты в синих корочках и две коробочки с медалями. Чей-то папа держит на плече видеокамеру размером с гранатомёт:

— Не моргаем! Все смотрят сюда! Галя, ты моргнула!

Я встаю в строй одиннадцатого «А», в три ряда, как на фотографии Вики. Одноклассников узнаю не сразу: вчера половина из них сидела передо мной с лысынами и ипотеками.

Галина Петровна выходит к микрофону. «Дорогие мои», — говорит она, и колонка слышится в свист. «Дети. Сегодня вы...» — пауза слышна на весь двор. «Вы уходите в жизнь!» Она сморкается прямо в микрофон. «В большую! Жизнь!»

Потом микрофон берёт Шилов-старший, депутат гордумы, с причёской, которая не шевелится от ветра: «От лица... От себя лично! Школе — компьютерный класс!»

Двор хлопает. И первым — до всякого алфавита — директор вручает аттестат его сыну. Из рук папы, под камеру: «Шилов Артём!»

Артём выходит в голубой рубашке без единой складки. Ему восемнадцать: оставался на второй год. Отец обнимает его одной рукой, второй держит корочку повыше, чтобы попала в кадр. Артём улыбается.

Камера отворачивается. Шилов-старший сразу убирает руку с плеча сына и отходит к директору, не взглянув на него. Улыбка у Артёма держится ещё секунду, по привычке. Потом гаснет, и он стоит один у стола с синей корочкой, как будто не знает, куда её деть.

Я ищу Лёху. Нахожу в последнем ряду: лента через не то плечо, в кулаке семечки. Он ловит мой взгляд, показывает пальцем на Артёма, потом себе в рот: тошнит. Физрук по кличке Свисток поворачивает голову, и Лёха мгновенно делает лицо примерного выпускника.

Получается так смешно, что я фыркаю вслух. Таня Котова смотрит на меня с ужасом. Я помнил Лёху только таким, каким видел в последний раз: на коленях, в гаражах. А он, оказывается, был смешной.

Дальше по алфавиту. «Белова Анна! Золотая медаль!» Она выходит из третьего ряда. Белая блузка, высокий хвост. На запястье чёрная резинка для волос — Аня крутит её на контрольных двумя пальцами. Аня берёт аттестат и идёт обратно.

Мимо меня. И смотрит не на крыльцо, не на камеру — на меня. Прямо, внимательно, будто сверяет с фотографией, которую держит в голове.

«Крюков Алексей!» Лёха идёт к столу вразвалочку, берёт аттестат и кланяется на три стороны. Двор хохочет. Где-то в толпе тётя Тамара, Лёхина мама, в лёгкой кофте поверх больничного халата — отпросилась со смены на час — хлопает громче всех и вытирает глаза.

«Соколов Денис!» Я иду к столу. Галина Петровна протягивает мне синюю корочку и вдруг задерживает её в руке.

— Соколов, у вас сегодня такое лицо... осмысленное. Я даже испугалась.

И тут я слышу маму. Не голос — звук. Она стоит в толпе родителей, рядом с Батей, прижав ладони ко рту, и плачет. Некрасиво, громко, на весь двор. Батя держит её за локоть и смотрит в небо, будто проверяет погоду.

В две тысячи седьмом я не обернулся. Взял аттестат и пошёл к Лёхе. Про то, что мама плакала, я узнаю сейчас, через девятнадцать лет.

Я не иду в строй. Я иду через двор к ней и отдаю ей аттестат. Она открывает синюю корочку прямо там, ведёт пальцем по строчкам оценок, по печати. Прижимает к груди.

— Ты чего? — шепчет она. — Дениска. Ты чего, ревьешь, что ли? Это я реветь должна, а не ты.

«Дениска» — так она называет меня, только когда никто не слышит. Батя смотрит на нас и говорит своё: «Ну-ну».

* * *

Когда строй рассыпается и все бегут фотографироваться, я иду к Ане. Двенадцать шагов. Вика Ермакова — розовое платье, мыльница на шее — орёт через двор: «Белова! Все вместе!» Аня не оборачивается.

— Привет, — говорю я. Голос выходит басом с хрипом.

— Соколов. — Она смотрит на мой галстук. — Ты галстук зубами завязывал?

— Батя завязывал.

— Тогда беру слова назад. — Уголок рта у неё дёргается. — Батю не критикую.

Потом она смотрит мне в лицо.

— Давно тебя не видела.

— Мы ж в пятницу виделись. На репетиции.

Пауза. На полсекунды, но я её слышу. Я двенадцать лет слушаю паузы в телефонной трубке: пауза перед «да» и пауза перед «я подумаю» звучат по-разному.

— Да, — говорит Аня. — В пятницу. Конечно. — Резинка на запястье замирает на полуобороте.

— Белова! — Вика хватается её за руку. — Ну ты чего, все ждут! Соколов, улыбаемся! — Вспышка бьёт мне в глаза. — Ой, ты моргнул. Ладно, ты всегда моргаешь.

Аню уводят. Она оборачивается один раз, коротко.

В седьмом классе она подошла ко мне в коридоре, сунула в руку записку, сложенную конвертиком, и сказала: «Передай Крюкову. Только не читай». Я не прочитал. Весь урок держал руку в кармане, а потом не нашёл Лёху, потом там были пацаны, потом записка постиралась вместе со штанами. Через неделю Аня спросила: «Передал?» Я сказал: «Ага». И она больше ни разу ни о чём меня не просила.

Я лет семнадцать думал, что записка была для Лёхи. И только в тридцать, в метро, вдруг понял: она отдала её мне, а не Лёхе, с которым сидела за одной партой. «Не читай» было проверкой. Открою или нет.

Я не открыл. Я вообще не открываю — ни записки, ни сообщения.

* * *

— Соколов! — Свисток стоит у входа в спортзал, руки в боки. — Пять лет ты у меня на канат не залез! Иди хоть стулья носи! Бегом!

В спортзале прохладно. Я снимаю пиджак. И тут из раздевалки слышу голос. Гладкий, без единой запинки.

— Серый, я всё отдам. Я же сказал. Сегодня ночью закроем вопрос.

Тот, на том конце, говорит что-то длинное.

— Да не кипишуй ты. Всё по плану. Я тебе напишу. Одно слово напишу — и заходите.

Щелчок раскладушки. Я едва успеваю отойти к стопке стульев. Из раздевалки выходит Артём, на пальце крутятся ключи от джипа. Улыбка включается мгновенно, как свет в холодильнике.

— Соколов. Стульчики? Труд облагораживает. — У двери он оборачивается. — Слышь. Расслабься. Лицо у тебя — как на похороны пришёл.

Дверь хлопает.

Девятнадцать лет я думал, что Артём Шилов оказался в гаражах случайно. Шёл мимо, увидел нас у отцовского бокса. Тупое провинциальное невезение, за которое Лёха заплатил четырьмя годами.

А Серый, выходит, ждал сигнала от него.

Глава 7. Скукота

Ключ от крыши Лёха носит на чёрном шнурке на шее. Говорит — «по наследству». Крыша залита тёплым гудроном. За низким парапетом — весь Тополинск, и над ним летит тополиный пух.

Лёха сидит на парапете, свесив ноги наружу. Четыре этажа вниз, и ему всё равно.

— Дэн! Ну наконец! Я думал, тебя Свисток в спортзале закопал.

Рядом с ним бутылка шампанского, тёплая, с утра на солнце.

— Это с какого праздника?

— С моего. — Лёха стучит ногтем по сколотому зубу. — Зуб даю, сегодня лучший день.

Садись, профессор, пока не прокисло.

Я сажусь рядом, но спиной к пустоте. Тело семнадцатилетнее, а страх высоты мой, тридцатилетний, с ипотекой.

Пробка улетает за парапет. Пена хлещет Лёхе на брюки.

— Ну ёлки! — Лёха ржёт. — Ладно, высохнет. Держи.

Пьём из горла. Шампанское тёплое, сладкое, противное. Самое вкусное шампанское в моей жизни.

— Короче, — говорит Лёха. — Ты про вечер не передумал?

— Лёх...

— Не, ну ты подумай. — Он загибает пальцы. — Мопед отработаю — раз. Кирюхе шлем — два. Мамке на зубы — три. Ей мост ставить надо, она полгода жуёт одной стороной. Три штуки, Дэн. За час постоять.

— А условка?

Он перестаёт улыбаться. На секунду.

— Ты с утра как мамка моя, — говорит он спокойно. — Я ж сказал: я на шухере. Гулял я. Гулял, понял?

— Слушай, — Лёха толкает меня плечом. — А ты кем будешь? Ну, вообще. Потом.

Вике я вчера — то есть через девятнадцать лет — сказал правду. И Вика нашла для неё одно вежливое слово.

— Буду продавать людям кредиты, — говорю я. — По телефону. Которые им не нужны.

Лёха смотрит на меня. Долго. Я жду, что он заржёт.

— Скукота, — говорит Лёха.

Не заржал. Просто сказал. И я смеюсь — до слёз, так что шампанское идёт носом. Мне никто так не говорил. Говорили «перспективно», «ну, молодец».

— Ты чё? — Он смотрит с подозрением. — Ты чё ржёшь? Ты вчера где-то начал?

— Ага, — говорю я, вытирая глаза. — Где-то начал.

Мы сидим долго. Лёха рассказывает про Кирюху, про «Байт», про мойку. Как Серёга на рынке продал ему мопед «за так, ну то есть в долг, но по-братски». «По-братски». У меня внутри что-то дёргается.

— Слышь, — говорит Лёха. — Белова на тебя пять лет смотрит. А ты на неё — как баран на новые ворота.

— Не смотрит.

— Смотрит. Я с ней сижу, я знаю. — Он сплёвывает шелуху за парапет. — Подойди уже, позорище. Сегодня выпускной. Сегодня всем можно.

Я смотрю на его профиль и думаю: а ты, Лёх? Ты сам на неё сколько лет смотришь? В две тысячи седьмом мне это не приходило в голову. Лёха был Лёха: весёлый, наглый, свой.

— А ты? — говорю я.

— А чё я? — Он поворачивается слишком быстро. — Я ничё. Я по мопедам.

Он встаёт на парапете во весь рост и орёт на весь Тополинск:

— ВЫПУСКНИКИ-И-И!

Внизу, на Заводской, ему отвечает гудок. Два раза, басом. Чёрный джип выезжает со школьной парковки.

— О, — Лёха машет джипу, как родному. — Шилов. Тоже рад. Слышь, он ко мне на той неделе на мойку заезжал, бампер мыть. Стоит, ключиками крутит. Говорит: «Крюков, а мопед-то у тебя знакомый. Чей, напомни?» — Лёха хмыкает. — Глаз-алмаз. Откуда он знает, а?

Я сижу на тёплом гудроне и смотрю, как джип сворачивает за угол. Артём знает, чей у Лёхи мопед. Значит, знает, кому Лёха должен. Значит, знает, кто будет ночью стоять у сорок седьмого.

Девятнадцать лет я ни разу не спросил себя: а кто, собственно, позвал нас в эти гаражи?

Глава 8. Танец родителей

В три — банкет в кафе «Ивушка». Под козырьком бетонный пингвин-урна, кто-то нарисовал ему маркером усы. Потом здесь будет «Встреча». Пингвина уберут.

Внутри столы буквой «П», оливье в хрустальных салатницах, водка в графинах для родителей и в стаканчиках из-под компота — для выпускников.

Я сижу между Лёхой и Вовкой Сычёвым. Напротив, через стол, — мама и Батя. Мама в платье, которое сшила сама за три ночи. У Бати тесный в плечах пиджак и галстук, который он завязал себе сам, тоже петлёй. Батя ест молча и сосредоточенно, как работает. Мама не ест — мама следит.

— Петя, — говорит она вполголоса, — Шиловы во главе сели. Они ж даже не скидывались!

— Оля. Ешь.

Мама поджигает губы и кладёт мне ещё оливье.

— Худой как глиста. В Москве тебя кто кормить будет?

Тамада объявляет тосты. Шилов-старший долго говорит про «двери, которые для вас открыты». Мама шепчет: «Двери у него открыты. У него ворота на даче открыты, и те автоматические». Батя толкает её коленом под столом.

Аня сидит в конце стола, с мамой и с отчимом, дядей Геной. Дядя Гена большой, тяжёлый, неподвижный. Бывший милиционер, теперь водитель Шилова. Пьёт только компот: ему ещё вечером везти.

Аня не смотрит на меня. Совсем. Резинка на запястье крутится туда-сюда. Тамада читает тост в стихах, про «крылья за спиной». Аня, не поднимая глаз от тарелки, беззвучно шевелит губами — в такт, слово в слово. Оливье у неё нетронутый. Я замечаю это и тут же забываю.

Этот банкет я потом почти не помнил. Помнил только, что Батя танцевал с мамой. И что он ушёл в восемь. А сейчас я смотрю.

Я смотрю, как мама, разговаривая с соседкой, не глядя поправляет Бате воротник — двумя пальцами, как поправляла его двадцать пять лет подряд. Как Батя не замечает и чуть наклоняет голову, чтобы ей было удобнее.

Я смотрю, как он под столом трёт грудь. Достает флакончик, кладёт таблетку под язык. Мама не видит. Я вижу.

— Пап, — говорю я через стол. — Ты как?

Он смотрит на меня поверх очков.

— Нормально. Ешь давай.

И трёт грудь.

— А теперь — танец родителей! — кричит тамада. — Мамы и папы, на танцпол! Не стесняемся!

Колонка играет что-то медленное. Мама уже стоит, Батя сидит.

— Петя.

— Не.

— Петя, все идут.

— Пусть идут.

— Пётр Андреевич!

Батя вздыхает так тяжело, будто его зовут грузить вагон. Встаёт и протягивает маме руку. Мама берёт её и смеётся — тихо, как девчонка.

Танцевать Батя не умеет совсем. Он переступает с ноги на ногу, держит маму за талию одной рукой, как держат что-то хрупкое и чужое, и смотрит под ноги. На третьем такте насту-

пает ей на туфлю. Батя что-то говорит ей на ухо — я не слышу, — и мама краснеет и бьёт его кулачком в плечо.

Тогда, в две тысячи седьмом, я не смотрел. Что Батя танцевал, я узнал по фотографиям, которые потом напечатала мама. После похорон я их перелистал и не узнал его: на фотографиях он смеялся. Я не помнил, чтобы Батя смеялся.

А он смеётся. Сейчас. Отвернувшись, чтобы никто не видел.

Мне хочется встать и сказать ему всё — про март, про гараж, про то, что я не успел. Я сижу. Если встану — сломаю это.

* * *

В 16:05 я иду мыть руки. На лестнице вниз, к туалетам, навстречу мне поднимается Вика на шпильках. На второй ступеньке левая шпилька уходит вбок с сухим щелчком.

— Капе-е-ец! — Каблук висит на одном гвоздике. — Это ж мамины! Мама из Турции привезла! Соколов, ты видел?!

— Видел.

— Прикинь! — Она садится на ступеньку и снимает туфлю. Голос понижается, глаза становятся круглыми. — Соколов, а ты про Шилова слышал?

— Нет.

— Он вчера в автоматах сорок штук слил! Сорок! Мне Танька сказала, а ей — его водитель. Ну не дядя Гена, другой, который зама возит. — Она прикрывает рот ладонью. — Я тебе ничего не говорила.

Сорок тысяч. Такое даже депутат гордумы сыну просто так не спустит. «Серый, я всё отдам».

— Вик, а кому он слил? Кто ему давал?

— Ой, Соколов, ты как следователь. — Вика уже разглядывает каблук. — Я откуда знаю? Слушай, у тебя клея нет? Нет? Ну ты бесполезный.

Она уходит вверх на одной туфле, вторую несёт в руке.

* * *

В половине седьмого я выхожу на улицу «подышать». В две тысячи седьмом я тоже выходил сюда в это время и что-то видел краем глаза.

Чуть дальше, у поворота во двор, стоит серая «девятка» с тонированными стёклами. Рядом Артём, ключи на пальце. И Серёга.

Серёга Мальцев. Двадцать два года, полтора отсидел. Бритый, в чёрной кожаной куртке, хотя тридцать градусов. Артём говорит быстро и машет свободной рукой. Серёга слушает и не двигается.

Я иду по другой стороне улицы и встаю за рекламным щитом. Отсюда слышно.

— ...короче, я тебе пишу «чисто», — говорит Артём. — Одно слово. И вы заходите. Сумка на полу, справа от машины. Синяя, с полосками. Там всё.

— Всё — это сколько? — Серёга говорит так тихо, что я едва различаю.

— Хватит. И на мой долг, и тебе сверху. Расслабься, Серый. Я свой бокс знаю.

— А ключ?

— Ключ у тебя будет. Я ж сказал.

— Ты много чего сказал, малой. — Серёга вынимает руку из кармана. В руке чётки из хлебного мякиша: такие делают там, откуда он вернулся. Щёлк, щёлк. — Я тебе по-людски поверил. Не надо так, чтобы я потом передумал.

Серёга садится в «девятку», и машина трогается с хрипом. Артём поворачивается и смотрит прямо на мой щит. Я не дышу. Артём отворачивается и не спеша идёт к кафе.

«Пишу „чисто“ — и вы заходите». Артём сам даёт ключ. Артём знает, где стоит сумка. Это не Серёга грабит бокс Шилова. Это Артём пускает Серёгу в свой бокс. Зачем вору приглашение?

Нужен кто-то, кто будет виноват.

Глава 9. Ливень

В 19:15 в «Ивушке» гаснет свет.

Гирлянда, люстры, музыка обрываются разом, и в тишине слышно, как кто-то роняет вилку. Тамада кричит в мёртвый микрофон: «Без паники, товарищи, это сюрприз!» — и все смеются. Две минуты. Пробки. Я помню.

В сумерках напротив меня мама шарит в сумке.

— Петя, ты таблетки взял? Я ж говорила, взять с собой...

— Взял, — говорит Батя. — Сиди.

Его рука лежит на груди. Не трёт — просто лежит, ладонью. В темноте можно, никто не видит. Свет включается, все хлопают. Батина рука уже на скатерти, рядом с вилкой.

В конце стола Аня смотрит не в тарелку, а на меня. Свет мигает ещё раз, и она отворачивается.

В восемь Батя встаёт. Тяжело, опираясь о стол, как утром на кухне. Целует маму в макушку и обходит стол ко мне.

— Сменщик заболел, — говорит он. — Ремизов. Я в ночь выйду.

— Пап...

— Не начинай. — Он кладёт руку мне на плечо. Рука тяжёлая, тёплая. — Гуляй. Только с головой.

Он говорил это и в две тысячи седьмом. Это были последние слова, которые он сказал мне в ту ночь. Утром он вернулся со смены, когда я уже лежал лицом к стене, с разбитыми руками под подушкой. О той ночи мы не говорили никогда.

— Пап, — говорю я и встаю. — Не ходи. Ну её, эту смену.

— Ты чего, сын?

Я не могу сказать: через восемь лет у тебя будет инфаркт, и я буду поднимать венки. Не могу сказать: если ты будешь дома этой ночью, может, я не уйду в гаражи. Я сам слышу, что это бред.

— Ничего. Просто... выпускной же.

— Выпускной у тебя, а не у меня, — говорит Батя. И вдруг, неловко, притягивает меня к себе одной рукой и хлопает по спине два раза. — Всё. Давай. С головой.

Он уходит. Я смотрю ему в спину, пока не закрывается дверь.

В 20:40 начинается ливень. С реки приходит туча и обрушивается разом. Пингвин-урна стоит под ливнем, усатый и невозмутимый.

Я стою под козырьком. Пух тонет в лужах. Рядом встаёт Аня. Не близко, на расстоянии вытянутой руки.

— Десять минут, — говорит она. — Потом кончится.

— Откуда знаешь?

Она пожимает плечами.

— Летние ливни всегда короткие. — И, не поворачиваясь: — Соколов, ты знаешь, откуда лучше всего видно рассвет?

— С крыши?

— С набережной. Там, где ступеньки к воде. Солнце встаёт прямо из-за моста. В половине пятого.

— Ты что, видела?

Она молчит — та самая пауза, на полсекунды.

— Мне рассказывали, — говорит Аня.

Ливень кончается сразу. Ровно через десять минут. Аня уходит первой, не оглядываясь. У меня в кармане вибрирует телефон.

в 10 у дк. потом в час на дело. не тупи профессор

* * *

Из актового зала ДК химиков вынесли кресла. Под потолком крутится зеркальный шар. За пультом Славик из одиннадцатого «Б». Он ставит «Дворы-подъезды» — второй раз за вечер, — и весь зал орёт припев. Только Аня Белова на первом же аккорде молча выходит из зала.

А я стою у стены и думаю: какие же они все маленькие.

— Профессор! — Лёха хватает меня за локоть и тащит к боковой двери. — Пошли.

За ДК мусорные баки. Лёха садится на нижнюю ступеньку, вскрывает зубами две банки «Пантеры», одну даёт мне.

— Ты сегодня какой-то... — говорит Лёха. — То ржёшь, то смотришь, как будто я умер. Ты чё, влюбился?

— Лёх. Послушай меня. Один раз. Не ржи. Я видел Шилова с Серым. У кафе. Шилов сам дал Серому ключ от бокса. Шилов сам напишет ему, когда заходить. Сын депутата сам пускает воров к отцу в гараж. Тебе это не кажется странным?

Лёха морщит лоб.

— Ну... Шилов должен Серому. Может, так расплачивается. Типа, бери у бати сам, мне не жалко.

— А мы тогда зачем? Если Шилов сам открывает — зачем шухер?

— Ну, Серый сказал, на всякий. — Он кладёт мне руку на плечо, тяжёлую, как у Бати. — Ты чё грузишься? Постоим час, получим три штуки. Я мопед закрою. Ты — хоть новую мобилу.

«Три штуки — это ж новая мобила». Мои слова. Сегодня я их не говорил, а они всё равно прозвучали, только его голосом. Как будто в этот день их обязательно должен кто-то сказать.

— Не ходи, — говорю я. — Я тебе сам отдам эти три штуки. Займу, найду, не знаю.

Лёха смотрит на меня очень странно.

— Ты мне что, денег предлагаешь? Чтоб я не пошёл?

— Да.

— Я чё тебе, нищий? — Он встаёт, бросает банку в бак и промахивается. И без злости, твёрдо: — Я сам отработаю. Мужик сказал — мужик сделал. Не хочешь — не иди. — У двери оборачивается, улыбается своим сколом. — Медляк в двадцать три сорок. Белову пригласи, профессор. А то я её приглашу.

Дверь хлопает. Нельзя предлагать деньги человеку, у которого гордость дороже денег. Я это знаю. И всё равно предложил.

В 23:00 я стою у окна в фойе. Отсюда видна стоянка. Артём выходит из ДК, на ходу развязывая галстук, и садится в чёрный джип. Один. Джип сворачивает не налево, к центру, где на Пушкинской живут Шиловы, а направо.

«Шилов куда?» — спрашиваю я пацана на перилах крыльца. «Переодеться, сказал. Облился».

Я смотрю, как красные огни уходят к мосту. Туда, где за рекой частный сектор.

И гаражи «Рассвет».

Глава 10. Дверь

В 23:15 у Славика дымится колонка, и полчаса музыка идёт из одной, хриплая. Я этого не помнил: в две тысячи седьмом я в это время сидел за ДК с Лёхой.

В 23:40 Славик ставит медляк. Свет гаснет. Остаются шар и синий прожектор. Пары держатся друг за друга на расстоянии вытянутой руки.

Аня стоит у противоположной стены. Вику уже утащил танцевать кто-то из «Б», и Аня осталась одна. Она смотрит на меня через весь зал. Прямо.

У меня одна минута. Шилов пригласит её на второй, я это помню. Одна минута, двадцать шагов через танцпол и одно слово: «Пойдём?» Мне тридцать шесть. Двадцать шагов — не так уж много.

Я делаю первый шаг, и в кармане вибрирует телефон. Лёха:

дэн ты где. серый звонит говорит в пол первого уже выходим. давай за дк быстро

Я стою на краю танцпола. Справа Аня. Слева дверь, за которой лестница, за лестницей Лёха, а за Лёхой ночь, гаражи и угол ворот.

Я выбираю дверь.

Выбираю, потому что в голове одна мысль, взрослая, правильная: сначала главное. Если я сейчас потеряю его из виду, я его не найду.

За ДК Лёхи нет. Я бегаю вокруг здания три минуты. Лёха стоит у колонн, разговаривает по телефону и машет мне: «Щас, щас». Я возвращаюсь в зал.

Медляк идёт третью минуту. В синем свете под шаром — Аня и Артём. Он вернулся, конечно: к медляку он успевает всегда. Переоделся, рубашка другая, белая. Его руки у неё на талии. Её руки у него на плечах — не обнимают, просто лежат.

Она соглашается назло. Это я знал всегда: назло мне, потому что я опять не подошёл.

А теперь знаю ещё одно. На этот раз я не струсил. Я выбрал. И это хуже.

Через плечо Артёма Аня смотрит на меня. Не обиженно. Не зло. Так, будто ничего другого и не ждала.

В 00:10 садится телефон. Пищит коротко, жалобно — и всё. Зарядка дома, на подоконнике.

В две тысячи седьмом я тоже не зарядил. Утром, в половине десятого, когда телефон наконец ожил на кухне и весь город уже знал, что Крюков проломил голову Шилову, там была эсэмэска от Ани. Пришла в 00:50. Я её прочитал — и стёр, чтобы не видеть. А потом забыл, что она вообще была. Ни слова не помню.

В 00:30 Аня садится в джип.

Я стою на крыльце ДК, у колонны. Пахнет мокрой сиренью. На стоянке чёрный джип с открытой пассажирской дверью. Артём придерживает дверь, как в кино.

Аня выходит из ДК. Проходит мимо, так близко, что я слышу запах её волос — простой яблочный шампунь. Останавливается на ступеньку ниже.

— Соколов, — говорит она, не оборачиваясь. — Ты сегодня какой-то другой.

— Какой?

— Как будто знаешь, чем кончится. — Она поворачивается. — Знаешь?

Я молчу. Она ждёт секунду. Две.

— Ну и ладно, — говорит Аня. И спускается к джипу.

Артём закрывает за ней дверь и, прежде чем сесть за руль, поднимает на меня глаза. И подмигивает. Джип уезжает.

— Профессор! — Лёха выбегает из ДК, на ходу застёгивая рубашку. — Ну чё, идёшь? Не идёшь — так и скажи, я пойму.

Он стоит на ступеньках, весёлый, лёгкий, семнадцатилетний. Никто в этом городе не знает, что будет через два часа. Только я.

Остановить его словами я не могу. Но я могу быть там. Я знаю, что скажет Артём, слово в слово. Я буду стоять и молчать, что бы он ни говорил. Тогда не будет драки. Не будет угла. Не будет «вали». Это мой план. Единственный, который у меня остался.

— Иду.

— Во! — Лёха хлопает меня по спине так, что я кашляю. — Мужик!

Мы уходим через пожарную лестницу. Мимо ларька, где тётя Зина в окошке решает кроссворд. Лёха машет ей, Зина машет в ответ. На трубке таксофона висит клочок мокрого пуха.

К мосту мы идём молча. Лёха насвистывает «Дворы-подъезды», потом перестаёт. Под мостом шумит река, на том берегу мигает один-единственный фонарь — над вторым рядом «Рассвета».

На середине моста Лёха вдруг останавливается и смотрит на меня. Без улыбки.

— Слышь, профессор. Если чё — ты меня не знаешь. Ты дома спал. Понял?

— Лёх...

— Понял, нет?

Глава 11. Сорок седьмой

Гаражный кооператив «Рассвет» стоит на пустыре за мостом, между железной дорогой и рекой. Семь рядов железных боксов, между ними разбитый асфальт, лужи после ливня, лопухи в человеческий рост. Сторожа нет с девяносто восьмого года. Фонарь один, в начале второго ряда, мигающий. За забором лает собака, раз в минуту.

Мы приходим в 01:30. Время я смотрю на Лёхином телефоне — мой мёртвым кирпичиком лежит в кармане. «Тихо тут», — шепчет Лёха. Он идёт впереди, перепрыгивает лужи и улыбается. Ему семнадцать, он идёт на дело.

Через два ряда от сорок седьмого — двадцать четвёртый бокс. Батин. В нём стоит его старенькая машина и пахнет бензином, маслом и Батей. Я в детстве сидел там на перевёрнутом ведре и подавал ключи: «Десятый». «Не этот, сын, тот, с синей ручкой». В марте пятнадцатого он пойдёт сюда за аккумулятором и упадёт в двадцати шагах от ворот.

Я ни разу не был здесь после похорон. Девятнадцать лет я думал, что «Рассвет» — это место, где я ударил человека. Я забыл, что это ещё и место, где умер мой отец.

Сорок седьмой — в четвёртом ряду, почти в конце. Ворота красные, свежепокрашенные, номер белой краской. Висячий замок.

Лёха садится на корточки в тень соседнего бокса, достаёт семечки и протягивает мне. Я беру горсть. Не лузгаю — держу в кулаке.

— Слышь, Дэн, — говорит Лёха, глядя на красные ворота. — А ты правда в Москву поедешь?

— Поеду.

— А я тут останусь. Не, ну я тоже уеду. Потом. Кирюху подниму, мамку... В Питер, может.

Он не уедет.

— Поедешь, — говорю я.

— Ага. — Лёха улыбается в темноте. — Ты мне хату найдёшь. Ты ж профессор.

В 01:50 приходит Серёга. Шагов я не слышу. Он просто появляется из темноты в конце ряда — чёрная куртка, бритая голова блестит под фонарём — и идёт к нам медленно, не прячась, как хозяин. В одной руке монтировка. Другая в кармане.

— Крюков, — говорит он тихо. — Дружка привёл.

— Это Дэн. Он нормальный, — Лёха встаёт.

Серёга смотрит на меня. Глаза светлые, почти белые в этом свете, и смотрят не в лицо, а сквозь.

— Ну пусть стоит. Раз нормальный.

Он достаёт из кармана ключ — новенький, с заусенцами на бородке. Не вставляет, держит в руке.

— Ждём сигнала.

— Какого сигнала? — спрашиваю я. Голос хрипит.

— Ты, малой, стоишь где поставили. И не спрашиваешь.

Семечки в кулаке намокают от пота. Лёха переминается с ноги на ногу. Двадцать пять минут до сигнала. Пятьдесят — до Артёма. Я встаю.

— Серёга. В сумке «кукла». Газета вместо денег.

Собака за забором лает. Раз.

— Чего? — говорит Серёга.

— Там нет денег. Шилов тебя кинул. Он сам забрал бабки, пока мы были на дискотеке. В одиннадцать. Я видел, как он уехал сюда.

Лёха смотрит на меня с открытым ртом. Серёга — без выражения.

— А ты откуда знаешь, малой, что в сумке?

Я не могу ответить «оттуда, что я это видел девятнадцать лет назад».

— Видел, как он уехал.

— Видел, как уехал, — медленно повторяет Серёга и подходит вплотную. — А может, ты ещё кому рассказал, что видел? Мамке? Участковому?

— Серый, ты чё, — Лёха встаёт между нами. — Он свой. Просто грузится. У него день такой.

В кармане у Серёги щёлкают чётки.

— Значит, проверим, — говорит он. — Откроем — и проверим. Если там «кукла» — я с Шиловым поговорю. А если нет, малой, — с тобой.

Лёха шепчет мне, не поворачивая головы: «Ты чё творишь, Дэн?»

В 02:15 у Серёги в кармане пиликает телефон.

Он смотрит на экран, прикрыв его ладонью, и мне видно одно слово.

Chisto.

С заглавной буквы и с точкой. Так эсэмэски никто из пацанов не пишет. Точку в эсэмэске ставят учителя и люди, которые хотят, чтобы их запомнили.

«Пошли», — говорит Серёга. Монтировка не нужна. Ключ входит в замок легко. Створка ворот скрипит на весь кооператив. Собака замолкает.

Внутри полки, канистры, посередине машина под серым брезентом. Луч фонарика находит на полу, справа от машины, спортивную сумку. Синюю, с белыми полосками.

Серёга опускается на корточки и дёргает молнию. Пачки. Ровные, банковские, сверху сотенная.

Серёга молча разрывает одну, вторую, третью. Под сотенными — резаная газета. Бумага сыплется ему на колени, на бетон. «Тополинский вестник». «Тополинский вестник».

— Где... — Он не кричит, шипит. — Где бабки?

И поднимает глаза на меня. Пустоты в них больше нет. От того, что в них теперь, Лёха делает шаг назад.

В 02:31 Серёга набирает номер. Слушает. Сбрасывает. Набирает снова.

— «Абонент недоступен», — говорит он. — Ну-ну.

Он вытряхивает сумку на бетон. Сотенные падают в лужу у ворот и намокают.

— Серый, — голос у Лёхи садится. — Пусто — значит, пусто. Валим, а?

— Стоять.

Лёха трёт ладони о брюки. Шелуха прилипла к пальцам, он не замечает.

Я стою у ворот. Девять минут. Я считаю их и повторяю про себя: стой. Молчи. Что бы он ни сказал — стой. Ты знаешь, что это провокация. Ты знаешь все слова наперёд.

Я не ударю.

Глава 12. Не клюёт

В 02:40 — шаги.

— Вы чё тут делаете?! — Голос звонкий, на весь кооператив. — Это отцовский бокс!

Артём. В костюме, причёсанный, будто пришёл не в гаражи, а на педсовет. Он не испуган. Ему нужны свидетели.

Серёга оказывается рядом с ним раньше, чем я успеваю моргнуть. Хватает за лацканы и прижимает спиной к воротам — створка гудит.

— Где бабки, Шилов?

— Какие бабки?! Отпусти! — Артём дёргается, но не сильно. Не так, как дёргаются, когда страшно. — Ты знаешь, чей я сын?!

Он смотрит поверх Серёгина плеча. Находит меня глазами. И улыбается.

— Соколов? И ты тут?

Вот. Сейчас. Стой. Молчи. Руки в карманы.

Я засовываю руки в карманы. Ногти впиваются в ладони, семечки хрустят в кулаке.

— А Белова твоя, — говорит Артём медленно, с удовольствием, глядя мне в глаза, — у меня в машине так мило плакала.

Стой.

— Белова, кстати, ничего...

Я не помню, как вынул руку из кармана. Помню только, что внутри стало тихо и горячо, и очень захотелось, чтобы он перестал улыбаться.

Всю жизнь я помнил этот удар — и, оказывается, помнил неправильно. Он не сильный. Короткий и злой, костяшками в скулу. Семечки разлетаются из разжатого кулака веером.

Я знал каждое слово. Я стоял с руками в карманах. И всё равно ударил. Как будто моя рука помнила ту ночь лучше, чем я.

Артём отлетает назад — Серёга его уже отпустил, — делает два шага, оступается в луже и встречает виском нижний угол ворот, стальной, свежепокрашенный красным.

Звук. Глухой, деревянный, неправильный. Тот самый.

Артём лежит. Не шевелится. Из-под головы по мокрому асфальту медленно ползёт тёмное.

* * *

Серёга смотрит одну секунду. Потом запихивает «куклы» обратно в сумку — зачем-то, по привычке, — закидывает её на плечо и уходит быстрым шагом, не оглядываясь.

02:42. Лёха на коленях. Стягивает с себя белую выпускную рубашку, мамой выглаженную, сворачивает и подкладывает Артёму под голову. Осторожно, двумя руками, как подушку маленькому.

— Дышит, — говорит Лёха. — Дэн, он дышит. Дышит же?

Я не могу пошевелиться. Смотрю на свою руку: костяшки разбиты, кожа содрана, кровь. Моя? Его? Сирена. Далеко, за мостом, но едет сюда.

Лёха поднимает голову. Испуг уходит с его лица, и остаётся что-то другое, взрослое. Девятнадцать лет назад я видел это лицо одну секунду — и побежал. Сейчас я его разглядываю.

— Денис, — говорит он. — Вали.

— Нет.

— Вали, сказал! — Он не встаёт, держит рубашку под головой Артёма, но голос у него такой, что я отступаю на шаг. — У тебя институт. У тебя Аня. Я разберусь.

— Лёх, это я. Это я его...

— Я разберусь! — орёт Лёха. И тише, почти ласково: — Дэн. Ну пожалуйста. Уходи.

02:43. В две тысячи седьмом в эту минуту я побежал. Через пустырь, через насыпь, до самой реки. Сирена ближе. Синий свет уже мигает на стенах крайних гаражей.

Я не бегу.

В 02:50 «бобик» въезжает в ряд. Мигалка заливает всё синим. Палыч выходит первым. Капитан Гусев, участковый. Фуражка, живот, усталое лицо человека, которого подняли с дивана.

— Так-так, — говорит Палыч.

— Я его ударил, товарищ капитан, — говорит Лёха, не поднимаясь с колен. — Скорую, он дышит.

— Это я! — Голос срывается в петуха, выходит тонко и глупо. — Это я ударил! Не он! Я!

Палыч смотрит на мои руки. На лицо. Потом на Лёху — в одной футболке с черепом, руки в крови по локоть.

— Ты? — говорит Палыч. Без насмешки, устало. — Соколов, иди домой. У тебя шок.

— Посмотрите на руки!

— Соколов. — Он кладёт мне ладонь на плечо. Тяжело. — Мне до пенсии три года. Я таких героев видел. Ты сейчас за дружка любое скажешь. — Он кивает сержанту, и тот записывает мою фамилию в блокнот. — Утром придёшь, напишешь объяснительную. Свидетелем.

— Да я же...

— Иди, — говорит Лёха с асфальта. Тихо. — Дэн. Иди.

Скорая приезжает через двенадцать минут. Двенадцать минут Лёха держит голову Шилова на своей рубашке. Фельдшер отодвигает его плечом: «Всё, парень, всё, дальше мы».

Лёху сажают в «бобик». Не грубо: Палыч даже кладёт ему ладонь на затылок, чтобы не стукнулся о дверь. Через мутное заднее стекло я вижу Лёхино лицо в синих вспышках. Он смотрит на меня. И подмигивает.

Ему семнадцать, его везут сажать, а он подмигивает мне.

* * *

Как дошёл до реки, не помню. Набережная пустая: чугунные перила, фонари, скамейки. Над водой лежит туман, и мост в нём висит ни на чём. Небо на востоке уже серое.

03:40. На крайней скамейке, далеко, сидит девушка в белом, обхватив колени. Лица не разглядеть. Пока я иду, она встаёт и уходит вдоль перил, в туман. Мало ли кто. Выпускной. Полгорода в белом.

На ступеньках у самой воды сидит дед с удочкой. Брезентовая куртка, кепка, ссутуленная спина. Красная точка поплавок неподвижно стоит на серой воде.

— Не клюёт, — говорит дед, не оборачиваясь.

— Сочувствую. — Голос у меня чужой.

Поплавок не двигается.

— Сегодня не клюнет, — говорит дед. — Завтра клюнет. — Он молчит. — Ну, то есть сегодня. Сам поймёшь.

— Чего?

Дед чуть подтягивает леску и смотрит на поплавок, а не на меня.

— Держит кто-то, — говорит он воде. — Крепко держит. Ты, главное, не дёргай. Сорвётся.

— Кто держит?

— Руки помой, — говорит дед. — В реке. Мать испугается.

Я спускаюсь к воде и опускаю руки. Вода холодная, как в марте. Тёмное уходит с костяшек мутной струйкой и растворяется в тумане.

Я сижу на нижней ступеньке рядом с дедом, и мы молчим. Туман редет. На том берегу кричит петух.

В 04:30 солнце вылезает из-за моста. Красное. Просто красное. Оно поднимается быстро, слишком быстро, и становится всё ярче, и ярче, так что больно глазам, — и туман над рекой вспыхивает, и перила, и мост, и дед с удочкой — всё становится белым, белым, белым...

И я закрываю глаза.

Глава 13. Слово в слово

Звенит будильник. Железный, с двумя чашками. Молоточек бьёт между ними с такой яростью, что будильник подпрыгивает и ползёт к краю тумбочки.

Я лежу с закрытыми глазами и не двигаюсь. Голова не болит. После ночи без сна, после «Пантеры», после реки и холодной воды она обязана болеть. Не болит.

И я помню. Гаражи. Угол ворот. Звук. Мигалку. Лёхино лицо за мутным стеклом. Деда. Солнце, которое стало белым.

Я открываю глаза. Ковёр у самого носа. Сердитое лицо на месте. Смотрит.

Будильник доползает до края и падает на пол. Звенит там, лёжа на боку, ещё злее.

Я поднимаю руки к лицу. Костяшки целые. Ни ссадины. Кожа чистая, тонкая, мальчишеская, заусенцы. Ночью эти костяшки были разбиты в кровь, я видел, как тёмное уходит с них в реку. Сжимаю кулак. Разжимаю. Ничего не болит.

На спинке стула висят брюки. Чистые: ни глины с пустыря, ни брызг из гаражной лужи. Отглаженная стрелка. Мама гладила их вчера вечером. Вчера, которое было до вчера.

— Денис! — Мамин голос из-за двери. — Рубашку сам гладишь или мне?! Девятый час!

Слово в слово. С той же интонацией, с тем же ударением на «сам», с той же паузой перед «девятый час».

Я лежу и смотрю в потолок. На потолке тонкая трещина от люстры к углу, похожая на Италию: сапог, каблук, даже Сицилия рядом — пятнышко отвалившейся побелки. Я засыпал, глядя на неё, всё детство. Потом ни разу о ней не вспомнил.

— Мам, — говорю я. Голос хриплый. — Какой сегодня день?

— Воскресенье! — Шипит утюг. — Двадцать четвёртое! Выпускной у тебя, если ты забыл, умник! Ты что, вчера уже где-то начал?

Для неё вчера — это двадцать третье, суббота. Для меня вчера — гаражи.

Я встаю — не держусь за колено, не жду, пока перестанет стрелять в пояснице. Просто встаю. Вчера это было чудом. Сегодня — уликой.

В коридоре пахнет утюгом и яичницей. Радио на кухне бормочет: «...в Тополинске сегодня до тридцати градусов, к вечеру кратковременный дождь...» Мама гладит мою рубашку на сложенном вдвое одеяле, набирает в рот воды и брызгает на воротник.

— Явился. Садись ешь. Рубашку я сама, ты её только изжужь.

У окна — Батя. Газета вчетверо, очки на кончике носа, майка, треники. Он здесь. Опять. Вчера я смотрел, как за ним закрывается дверь «Ивушки», — он ушёл на ночную смену. А тогда, в настоящем две тысячи седьмом, видел ли он утром мои руки? Спрашивал ли? Я так и не узнал.

Батя переворачивает страницу.

— Чего встал? Садись. Или выпускникам теперь отдельно накрывают?

Я сажусь. Табуретка скрипит тем же скрипом.

— Мам, — говорю я. — Сейчас папа скажет, что это изжога от твоей яичницы.

Мама оборачивается. Батя морщится, трёт грудь, лезет в карман за флакончиком, кладёт таблетку под язык.

— Изжога, — говорит Батя. — От твоей яичницы.

Мама роняет лопатку.

— Ты откуда знаешь?

— Он каждое утро так говорит.

— Не каждое, — обижается мама.

— Каждое, — говорит Батя и смотрит на меня поверх очков. Долго. Как на поплавок, который дёрнулся не от рыбы. — Ты чего это, сын?

— Ничего. Сон приснился.

— Какой?

— Что ты к врачу ходил.

Батя хмыкает в усы и снова разворачивает газету.

— Ну, значит, не в руку.

Яичница та же. Соль та же. Хлеб с одной стороны чуть подгоревший, потому что мама жарит его на сковородке. Ладно. Допустим.

Телефон на тумбочке заряжен: полоска полная. Вчера в 00:10 он умер у меня в руке на крыльце ДК. Я его не заряжал. Я вообще не приходил домой. Я сидел у реки, а потом стало белым.

08:11. 24.06.2007. В отправленных пусто: вчерашнего моего «буду» там нет. Его ещё никто не писал.

ну чё выпускник живой? в 9 у ларька. есть тема на вечер ваще жесть

Он жив. Вчера в 02:50 его посадили в «бобик». А сейчас он пишет — без запятых, без заглавных.

Я нажимаю «вызов». Гудки. Длинные. Пять. Шесть. Кто в восемь утра в воскресенье...

— Алё, — хриплый, сонный голос. — Дэн? Ты чё, восемь утра.

Я не могу говорить.

— Дэн? Алё. Ты там живой?

— Живой. — И голос у меня ломается — не петухом, а как у взрослого мужика, который пытается не заплакать. — Живой. Лёх. Ты как?

— Ты чё, мамка моя? — Лёха зевает со стоном. — Нормально я. Спал, пока ты не позвонил. Я ж тебе написал. В девять у ларька.

— Да. Я помню.

— Ну вот и приходи. Тема есть. — Он замолкает. — Дэн? Ты чё, плачешь?

— Нет.

— Фу, — говорит Лёха. — Выпускник. Психика. Давай, в девять.

Гудки. Я сижу на кровати с телефоном. Ковёр. Трещина-Италия. Будильник на полу, на боку, молчит.

Лёха жив и ничего не помнит. Для него не было ни гаражей, ни мигалки, ни «Денис, вали». И вечером он опять пойдёт в «Рассвет». Опять встанет на колени в лужу. Опять скажет «я».

А я помню.

Глава 14. Тетрадь по алгебре

Без двадцати девять. Мама гремит на кухне посудой, Батя шуршит газетой, а я сижу на кровати и перебираю варианты.

Я сошёл с ума и лежу где-то в двадцать шестом, привязанный к кровати. Тогда у этой психушки отличная детализация: трещина на потолке совпадает до миллиметра. Или я в коме после такси, и мозг напоследок перебирает, за что зацепиться. Тогда понятно, почему этот день: другого я переигрывать не хотел. Или это как в том американском кино про мужика, у которого всё время одно и то же утро. Я заснул на середине, Света потом пересказывала мне конец, а я не слушал.

А надо было.

Если день повторяется, его надо записывать.

В ящике стола учебники, сборник задач для поступающих в загнутых уголках, пенал с черепом, который Лёха нарисовал ручкой в девятом классе. И тетрадь по алгебре — зелёная, в клетку, сорок восемь листов. Я завёл её весной для повторения перед экзаменом и списал до половины: уравнения, графики, пометки красной ручкой — «Небрежно!», «Где ОДЗ?!».

Ручка синяя, дешёвая, с погрызленным колпачком. Почерк у меня семнадцатилетний, крупный, с завитушками на «д», которые я потом, в институте, вытраплю из себя. А рука торопится по-взрослому: криво, быстро, сокращая слова. Вверху чистой страницы я пишу и подчёркиваю дважды:

24.06.2007. Второй раз.

Потом пишу то, чего не говорил никому. Ни Свете, ни маме, ни психологу, к которому Света записала меня в двадцать первом: на втором сеансе он спросил, что случилось в ночь на двадцать пятое июня, и на третий я не пошёл.

Та ночь.

Гаражи «Рассвет», бокс 47. 02:40.

Я ударил Шилова. Он упал виском на угол ворот.

Лёха сказал «вали». Я свалил.

Лёха сказал «это я». Четыре года.

Девятнадцать лет — в пять строчек. Я думал, будет больше. Пять строчек синей ручкой между квадратными уравнениями.

Ниже я пишу то, чего не знал тогда:

Шилов должен Серому (40 т., автоматы). Шилов сам дал ключ. Сам дал сигнал: «Chisto.» Сам забрал деньги в 23:00.

Шилов пришёл в 02:40 нарочно. Про Аню сказал НАРОЧНО. Ему был нужен удар.

Последнюю строчку я подчёркиваю. Зачем человеку приходить туда, где его ударят? Не знаю.

Что не сработало:

— *Отговорить Лёху (деньги — обиделся).*

— *Сказать Серому про «куклу» («откуда знаешь?»).*

— *Не бить (ударил всё равно).*

— *Сказать Пальчу правду («шок»).*

— *Не убежать (остался — ничего не изменилось).*

Пять попыток — пять провалов.

Правила:

1. *День повторяется. Все, кроме меня, ничего не помнят.*

2. *Мир хочет, чтобы было как было. Меняю мелочь — он находит обход.*

3. *Перезагрузка — на рассвете, 04:30.*

Рука не дрожит. Вчера дрожала, в спортзале, на стуле. Сейчас — нет. Потому что это работа, а работать я умею. Задача: до 02:40. Ресурсы: знание. Ограничения: никто не верит, мир сопротивляется. Количество попыток — неограниченно? Я пишу это слово и ставлю вопросительный знак.

Если день повторяется, у меня сколько угодно попыток. Можно ошибаться. Можно провалиться сто раз, и на сто первый получится. Это же лучшее, что может случиться с человеком, который полжизни мечтал переиграть одну ночь. Тогда почему у меня холодеют руки?

Потому что каждую ночь Лёха будет вставать на колени в лужу. Каждую ночь будет звук — глухой, деревянный, неправильный. Каждую ночь мигалка, «бобик», мутное стекло.

Сколько угодно попыток — это ещё и сколько угодно раз смотреть, как его увозят.

— Дени-и-ис! — кричит мама за дверью. — Рубашка готова! Ты одеваешься или нет?!

Я кричу, что иду. На тумбочке пиликает телефон. Лёха:

алё. ты там рубашку жуёшь что ли))

Я убираю тетрадь под рубашку, за ремень брюк, чтобы чувствовать её. Чтобы, если завтра снова будет сегодня, она была при мне. Не будет — я понимаю это, уже застёгивая ремень. Если день начинается заново, тетрадь тоже начнётся заново: пустые страницы, квадратные уравнения, «Где ОДЗ?!». Значит, придётся помнить. И каждое утро переписывать.

Я уже стою в дверях, когда понимаю, что записал не всё. Достая тетрадь. Под третьим правилом пишу:

4. ?

И смотрю на знак вопроса.

Дед на набережной: «Сегодня не клюнет. Завтра клюнет. Ну, то есть сегодня». «Держит кто-то». Девушка в белом на крайней скамейке, которая встала и ушла в туман. Аня под козырьком «Ивушки»: «Десять минут. Потом кончится». И ровно через десять минут ливень кончился. «Солнце встаёт из-за моста. В половине пятого». — «Ты что, видела?» — «Мне рассказывали».

«Как будто знаешь, чем кончится. Знаешь?»

Я пишу под знаком вопроса:

Аня?

И сразу зачёркиваю. Глупость. Недосып. Аня Белова, отличница, медалистка, семнадцать лет. При чём тут она.

Но зачёркиваю одной чертой. Так, чтобы было видно, что написано.

Тетрадь Ани. Запись первая

Назад хочешь?

Вызов пришёл в 21:14. Мужчина, тридцать шесть лет, боль за грудиной, потерял сознание на работе. Повод — «плохо с сердцем», так пишут, когда звонит не родственник, а кто-то, кто не знает, что сказать. Адрес — автосервис на Промышленной, за железнодорожным переездом.

Мы были на Кирова, возвращались с пустого вызова: бабушка, давление, она больше хотела поговорить, чем лечиться. Я помню, что успела съесть половину бутерброда. Вторую половину потом нашла в кармане через три дня.

Доехали за одиннадцать минут. Переезд был закрыт, товарняк шёл медленно, как всегда, когда торопишься. Водитель сказал: «Сейчас, сейчас», хотя никто его не торопил.

Пациент лежал на бетоне, на картонке, между подъёмником и старым шкафом с инструментами. Над ним стояли трое в грязных комбинезонах. Один держал его за руку. Это было неправильно и очень понятно.

Пациент К., 36 лет. Сознание — оглушение, потом сопор. Кожа бледная, влажная. Пульс нитевидный. На кардиограмме — то, что видеть не хочется, когда пациенту тридцать шесть. Кто-то из мужчин сказал: «Он с утра жаловался. Изжога, говорит». Я кивнула. Изжога — это то, что мужчины говорят, когда им страшно.

Мы погрузили его в машину. В машине он открыл глаза.

Я не сразу его узнала. Я его вообще-то знала хорошо — последние десять лет мы иногда пили чай, однажды я зашивала ему бровь, однажды он чинил мне машину и не взял денег. Но в машине скорой люди не похожи на себя. Там все похожи на свою болезнь.

Он меня узнал раньше.

— О, — сказал он. — Ты, что ли. Ты чего тут.

— Работаю, — сказала я. — Молчи.

Он, конечно, не молчал. Он никогда в жизни не молчал, когда ему говорили молчать.

* * *

Дальше в карте вызова написано так: «В 21:41 — остановка кровообращения. Начаты реанимационные мероприятия. Дефибрилляция трижды. Адреналин по схеме. Реанимационные мероприятия в течение 40 минут без эффекта. В 22:21 констатирована биологическая смерть».

Это правда. Там всё правда, кроме одной вещи.

Между 21:14 и 21:41 он успел сказать ещё одно. Он сказал это, когда я ставила катетер и ругалась на вену, а он смотрел в потолок машины, где у нас наклеена картонка с телефонами больниц.

— Слышь. Дэну скажи. Я не в обиде. Пусть не прячется.

Я сказала: «Сам скажешь». Так говорят. Так положено. Это помогает пациенту и не помогает никому.

Сорок минут — это очень долго. Это две серии сериала. Это дорога от моего дома до больницы пешком. Это несколько тысяч нажатий на грудь. Я сбилась на второй тысяче, а потом начала заново, потому что, когда считаешь, не думаешь. Я качала, менялась с Игорем, нашим фельдшером, качала опять. Водитель стоял в открытых дверях и держал капельницу. Он плакал. Ему пятьдесят восемь, он видел больше смертей, чем я. Он плакал, потому что у пациента на рукаве комбинезона маркером было написано «ЖЕСТЬ» и нарисована кривая рожица, и это было невыносимо.

В 22:21 я сказала время. Игорь записал. Я сняла перчатки, вышла из машины и села на бордюр у переезда. Мимо шёл товарняк. Тот же, кажется.

* * *

Номер я нашла через две недели. Не сразу, потому что сначала были похороны, потом его мать, потом мой отпуск, который мне дали, потому что я однажды ночью на вызове перепутала дозировку и вовремя заметила. Начальница смены сказала: «Иди. Тебя качает». Её зовут Ирина Сергеевна. Я пишу её имя здесь специально.

Номер мне дал его младший брат. Он искал в старом телефоне, у которого был разбит экран, и всё повторял: «Он ему писал. Он ему каждый год писал на день рождения. Ни разу не отправил».

Я написала сама. Третьего июня, в половине восьмого утра, после ночной смены. Четыре строчки. Кто я. Что нам надо поговорить про него. Что он просил кое-что передать. «Позвони, пожалуйста».

Две серые галочки. Не синие. Он не открыл. Я проверяла каждый день. Потом через день. Потом перестала, потому что поняла: он видит имя и не открывает. Он всегда так делал. Девятнадцать лет назад он тоже увидел — и не открыл.

Я тоже. Я тоже тогда увидела — и промолчала. Не пиши об этом. Не сейчас.

* * *

Двадцать третьего июня у меня была ночная смена. Одиннадцать вызовов. Последний — в 03:40, молодой человек, алкогольное отравление, выпускной. Не наш выпускной — чужой, они и теперь гуляют в конце июня, как мы. Он лежал на газоне у ДК и пел. Его друзья держали его за ноги, чтобы он не уполз в реку. В машине он сказал мне, что я похожа на его маму, и уснул. Я записала: «Сознание ясное. Контакт доступен частично».

Смена закончилась в 04:10. Я не поехала домой. Я пошла на набережную. Я не знаю, зачем. Хотя нет, знаю. Девятнадцать лет назад, в эту же ночь, я сидела там на крайней скамейке и ждала одного человека. Он не пришёл. То, что было потом, я сюда писать не буду. Я хотела в последний раз посидеть там, где начала молчать.

На набережной было пусто. Туман над водой, как тогда. Чугунные перила мокрые. На ступеньках у самой воды сидел старик с удочкой.

Я его помнила. Это странно, но я его помнила: он сидел там и тогда, в седьмом году. Такая же куртка, такая же кепка. Тогда я подумала, что это чей-то дед, который не спит. Сейчас я подумала, что это, наверное, его сын. Или внук. Люди повторяются.

Он не обернулся. Сказал воде:

— Не клюёт.

— Сочувствую, — сказала я. Я не хотела разговаривать. Я хотела сесть.

— Ты не сочувствуй. Ты садись.

Я села на ступеньку выше. Поплавок стоял в тумане неподвижно, красная точка на серой воде. Над мостом начинало светлеть.

— Назад хочешь? — спросил старик.

Я подумала, что он про дом. Что по мне видно, как мне надо домой. По мне было видно.

— Хочу, — сказала я.

А.

Ч

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.